



Максим Кантор. Этот художник может задевать, злить, почти шокировать, но игнорировать его очень трудно. Только что его большая выставка уехала из Третьяковки во Владивосток. Мелкими проектами Кантор не грешит, с галереями не работает. Рынок любит бунтарей, и Кантор популярен у художественных дилеров — он один из самых продаваемых московских художников на Западе. Он идеологичен. Считает, что Россия — это большой пустырь, на котором произрастают кривоногие и неприкаянные хомо сапиенс и при этом говорит, что очень любит Россию. Самое интересное — ему веришь.

Дарья АКИМОВА

Милиционеров я боялся только в детстве

— Вы с прохладцей относитесь к советскому нонконформизму?
— Просто не понимаю, почему столько разговоров про то, как «преследовали» и «запрещали», про обыски и «милиционеров». Ерунда все это.
— У вас не было милиционеров, которых вы боялись?
— Может быть, только в детстве. Мне было лет тринадцать, я издавал школьную стенгазету — выпусков семьдесят сделали. Когда все поняли, что собой представляет это безобразие, — исключили меня из школы, судили товарищеским судом. Вот тогда я боялся. Но картинки: чего ж тут бояться.
— Так уж совсем нечего?
— Я страшно не люблю, когда сорокалетний уже художник начинает корреспондендам рассказывать, как он страдал. Да, были люди, которые действительно страдали. Среди художников их не было вообще. Художники, за исключением передвижников (это я не в комплимент передвижникам — просто рассказываю, как было), у нас как-то не очень страдали за судьбы соотечественников. В 60-70-80-х годах они более всего хотели пробиться на западный рынок, а совсем не сказать правду о России и не страдать униженным и оскорбленным. В кружках обсуждали: какие цены на Сотби'с, что делается в галерее «Мальборо». Вот за что реально болела душа. Это было страшное горе: мы-то тут сидим по уши в дерьме, а могли бы.!! Соответственно сложился художественный мир, который старался не быть самостоятель-

ным, а хотел вписаться в мировой контекст. Все художественные кружки боролись с внешним оппонентом — с властью. Когда внешний оппонент исчез, групповое общение сделалось бесконечно неинтересным. Потому что никаких художественных идей просто не было.
— Сильно сказано.
— Но ведь правда. То есть они были, но ситуативные: например, «концептуализм прогрессивнее, чем станковая живопись». Но это частности, на которой невозможно строить художественное объединение!
— Ваша независимость, как водится, воспринималась в штучки?
— Проблема в том, что мне стали все равно какую-то роль навязывать — говорили, что я немецкий экспрессионист, потому что мои первые выставки действительно были в Германии. Стали объяснять то, что я «не с ними», тем, что я «с кем-то другим». Но я и с другими не был.
— Насколько ваш собственный стиль — жизни, творчества ныне претерпел изменения?
— Мой стиль жизни не изменился — то есть я стал богаче, но не приобрел себе ни машин, ни домов. Да, у меня есть два костюма. Могу поехать куда хочу — в этом смысле проще, но приоритеты какие были — такие и остались. Я хотел быть один — и я стал один. Я не хотел работать с галереями — и не работаю.
— Вы всех подряд посылаете?
— Я, собственно, только это и делаю.
Малевича на люблю
— Есть модная точка зрения: рассматривать авангард двадцатых как предвестников сталинизма. Вы разделяете это мнение?
— Я думаю, что посылка и у авангарда, и у ЧК действительно

ДАЮЩЕСТЬ СТРОЙНЫХ НОГ

Максим КАНТОР:

*Вел. Москва-1001-
4 дек - С.б.*

Я хотел быть один — и я стал один

общая. Но другое дело, что авангард дифференцирован. Сегодня называть художника, который рисует полоски, авангардистом — смешно. Авангард 20-х тоже разный, авангардист Родченко и авангардист Маяковский — разные люди, хотя и работали бок о бок. Мне очень дорог Маяковский, и я очень презрительно отношусь к Родченко. Малевича я не люблю.

— Как персону или как автора?
— Как личность он мне безразличен. Но не как единственный критерий оценки для очень многих, как буквальный художественный Вышинский. Замечательно, что на Малевиче история искусства не остановилась.
— Какова дистанция между человеком и тем, что он воплощает в картинах?
— Ее вообще нет.
— В своих работах вы менее оптимистичны, чем в жизни?
— Не считаю, что в картинах я пессимист. Я пишу очень хороших людей, которых люблю. Да, опыт и страсти изменили, иногда исказили их лица. Но лицо старика всегда интереснее, чем лицо ребенка. Лицо без морщин скучнее, чем лицо с морщинами — удивителен мужчина, у которого на лбу нет морщин: очень интересно, он что, ни разу не плакал, не страдал?
— Красота для вас как для художника что-то значит?
— Красивое лицо — это говорящее лицо. У Ксенофонта есть описание того, как к Сократу подвели Критобула (мальчика, которому молва приписывала связь с Сократом). Критобул был красавец. Сократ смотрел на него, потом произнес: «Теперь ска-

— Мой дед был испаноязычным драматургом, горным инженером и анархистом. Прожил 35 лет в Аргентине, там он зарабатывал месторождения, там женился на моей бабушке, там родился мой отец. Дед писал по-испански пьесы о художниках Возрождения, хорошие пьесы. Одну отец перевел — но мы ее так никуда и не отнесли, просто из-за неумения это делать. В 27-м дед переехал в Москву. Профессорствовал в Тимирязевской академии, разрабатывал Керченское месторождение, был соратником Вернадского, Ферсмана. Папа был поздний ребенок, как и я: деду было под пятьдесят, когда родился отец, а я родился, когда отцу было 36. Во время войны он был летчиком. Старшие дети деда участвовали в испанской войне. Отец — философ. Сейчас, наконец, выходит главный труд его жизни — многотомная философия истории. Отец в советское время был искусствоведам, основал журнал «Декоративное искусство». Моя мама генетик, довольно известный. Брат Владимир — историк культуры и литератор.
— Ваши с ним позиции совпадают?
— По многим вопросам — да, просто потому, что росли на одних и тех же книжках. Настоящие совпадения-несовпадения — они ведь все начинаются на уровне Винни-Пуха. А поскольку у Винни-Пухом у нас с ним все давно ясно, то дальше просто частности: Европа или Россия, быть ли нам азиатами или европейцами, налево или направо — вот по этим

тоже не выписывали — не потому, что были снобами, а потому что так было проще. Потом, когда мама вышла на пенсию, телевизор купили — кстати, было страшно: как это так, в доме вдруг появляется что-то вульгарное.

— Семейные традиции, обед в семь часов — для вас это важно?
— Я много езжу, три месяца в году живу дома. Но в общем-то — да, я бы очень хотел, чтобы...
— ...тапочки лежали в правом углу?
— Ну, это мне не грозит, я всегда в ботинках.

Я не против штукатурки

— Мы как нация склонны к мазохизму?
— Ну есть, конечно. Есть вообще народы к этому расположенные — немцы, например. Русские. Во мне самой эта склонность с годами, к сожалению, увеличивается. Потому что всегда видно, что другим хуже. Потому что часто чувствую, что я кого-то провел и обманул. Ну в самом деле, я же не вожу поезд. Я что-то карябаю на бумаге и вожу кисточкой, а живу неплохо. Я не рисуюсь, когда это говорю. Я не хочу сказать, что я готов водить поезд, — теперь, уже, наверное, нет. Но мне всегда хотелось, чтобы занятие искусством было реальным трудом.
— Вам случалось побывать на войне?
— Нет. Мне симпатичен писатель Лимонов — он хорошим русским языком пишет, но то, что он воспринимает войну как сафари, мне странно. Я бы не стал гоняться за войной по свету. Если она, не дай Бог, случится, я, разумеется, от нее прятаться не стану. Но то, что сейчас происходит на большой войне в Афганистане — по-моему, это большой позор, я в этом вижу просто новый передел карты, а не войну с терроризмом.
— Вам уже выражали негодование по поводу вашей философии?
— Да.
— Кто?
— Газеты. Дескать, ненавидишь Россию. На Западе говорят, что я ненавижу Запад — там мой текст в новой книге прочли как панегирик России.
— Вам Москва сегодняшняя нравится больше вчерашней?
— А она, по-моему, не изменилась. Ну, да, штукатурка, отреставрированные дома. Но Москва — она как валежок, она разнашивает все новые запады и вновь валяющиеся калоши. Но вот, кстати, Остоженку убили — это был мой любимый район, я там гулял, у меня была своя крыша в 1-м Обыденском переулке, на которой я рисовал.
— Может быть, все не так мрачно? Может, доштукатурят подьезды, вырастят пару стройных женских ног, и не будем мы кривоногими, как на ваших полотнах?
— В нашей — и вообще в жизни, как таковой — ничего не поменялось, и поменяется, по определению, не может. Люди умирают. Солнце садится на Запад. Стройные ноги лучше нестройных. Умный сложнее глупого. Это — данности. Я, вообще-то не против штукатурки. Стройные ноги в России действительно есть. Этим она и хороша. Я этого не опровергаю ни в коем случае. Напротив, радуюсь.



жи что-нибудь, чтобы я мог тебя увидеть». Так я и понимаю красоту. Красота — говорит. Влияет ли на меня красота, когда работаю? Конечно. Думаю, что мои вещи в числе прочего красивы. Именно красота и уравновешивает то страшное, что порой в моих картинах содержится.
Тапочки мне не грозят
— Вы о своей «семейной традиции» говорите много — но неконкретно.

маловажным вопросам мы иногда бранимся.
— Вы с Владимиром в основном философствуете или все-таки общаетесь на нормальные человеческие темы?
— Для нас «нормальные темы» — как раз глобальные. Так в семье принято было, так дед приучил. До моих тридцати лет в доме вообще не было телевизора, и я в принципе не знал, кто из политиков куда едет и как там отпраздновали седьмое ноября. Газет мы